



# Россия и Евросоюз: дискурсивные диссонансы

Андрей Макарычев

**Ч**ереда энергетических коллизий, шпионский триллер, известный как «дело Литвиненко», арест в Куршавеле ряда лидеров российского бизнеса — все эти события указывают на то, что в последнее время на европейском направлении нас постоянно ждут неприятности.

Состоявшийся в мае 2007 г. в Самаре очередной саммит «Россия–ЕС» вновь подтвердил охлаждение отношений между Москвой и Брюсселем. Политическим фоном этого отката во взаимоотношениях двух сторон стала смена руководства ведущих стран-членов ЕС: за короткое время В. Путин потерял всех основных «друзей» в Европе — Г. Шредера, Ж. Ширака, С. Берлускони, Т. Блэра. Их уход с политической сцены поставил в неудобное положение российскую внешнюю политику, которая традиционно базируется на «личной дипломатии».

Общее ощущение таково, что Брюссель испытывает все большее раздражение в отношении Москвы и находит все меньше точек соприкосновения с ней. В европейс-

ком дискурсе Россия предстает не только ненадежным источником поставок энергоресурсов, но и государством, чье руководство склонно к насилию и внутри страны, и за ее пределами. Но благодаря этой ситуации Россия получила прекрасный предлог для некоторого дистанцирования от ЕС, а также больше возможностей выработать собственное понимание того, что же такое «настоящая Европа».

В настоящей статье мы попытаемся объяснить сложности российско-европейских отношений через призму дискурс-анализа, опираясь на работы двух политических философов. Один из них — М. Фуко. Следуя заложенным им традициям, мы покажем, как в ходе диалога один дискурс заменяется и подменяется другим, как одни и те же термины в разных дискурсивных формациях приобретают разное значение. Дискурсивное пространство — это всегда совокупность оппозиций и разногласий, а дискурс-анализ — это изучение «мнений, а не знания, заблуждений, а не истины» [Фуко 2004: 275].

Однако, на наш взгляд, дискурс следует рассматривать не просто как «социальную речь», а как способ двойного формирования идентичностей: только посредством дискурса субъекты социальных отношений конструируют своих «собеседников», «адресатов» своих «посланий» (в качестве друзей, врагов, партнеров, конкурентов, соперников и т.д.); в то же время через конструирование «других» эти субъекты формируют свою собственную идентичность. Иными словами, дискурс — это конституирование «нас» через постоянное (пере)определение «их». Именно в этом плане российско-европейские «языковые игры» и представляют интерес, позволяя обнаружить те зачастую невидимые нити дискурсивной взаимозависимости, которые связывают Россию и Европу, даже разъединяя их.

Другим источником для настоящей статьи послужили труды Э. Лаклау. Этот политический философ, в частности, рассматривал диалог двух воображаемых субъектов, каждый из которых намерен убедить другого в правоте своих аргументов. Однако убеждение возможно лишь в том случае, если оба собеседника понимают используемые термины одинаково. Если же один из участников диалога не уверен, что данный термин адекватен той или иной конкретной ситуации и подходит для ее описания, тогда возникают сложности. Ведь за различием смыслов, вкладываемых в термины, стоят более фундаментальные, но не всегда явные различия в подходах и парадигмах. И нет никакой гарантии, что кто-либо из участников коммуникации легко откажется от своих традиционных подходов во имя какого-то нового взгляда. В этом случае «два отдельных мира мысли» так и будут существовать параллельно. Если же кто-то смог понять сам или убедить другого,

что старый язык более не инструментален для описания новой реальности, то создаются основы для операции дискурсивной гегемонии — одной из наиболее устойчивых форм межсубъектной коммуникации [Laclau 2007: 96]. Эта теоретическая рамка, с нашей точки зрения, применима с некоторыми модификациями для анализа российско-европейских взаимоотношений.

### **Россия–Европа: встреча различных дискурсов**

И в академических кругах, и среди политического истеблишмента присутствует ощущение, что старый «словарь» политической коммуникации больше не пригоден для поддержания диалога с Европой. Именно в этом смысле, очевидно, следует понимать многочисленные ссылки на «сложности перевода» в российско-европейских отношениях: на передний план всевозможных дискуссий о «европейском выборе» России выдвигается дискурсивный диссонанс или, иначе говоря, разрыв языков.

С одной стороны, есть «старый» язык, неизбежно ведущий к архаичным проектам (антиутопия В. Сорокина «День опричника» — гротескное и пугающее описание доведенной до абсурда логики традиционализма, встроенной в постиндустриальный мир). С другой стороны, есть «новый» язык, преимущественно заимствованный извне и включающий такие мало пригодные для публичной коммуникации «технологизмы», как «модернизация», «диверсификация» и т.п. Между этими двумя языками — пропасть, разрыв, который необходимо заполнять.

Таким образом, налицо серьезные дискурсивные разрывы между Россией и Европой: обе стороны часто прибегают к совершенно разным и плохо совместимым

друг с другом аргументам. Иными словами, Москва и Брюссель с большим трудом понимают друг друга — модельная и интереснейшая ситуация для дискурс-анализа.

Есть два возможных варианта объяснения сложившейся ситуации. Первый — ЕС и Россия используют разные «словари» публичной коммуникации. То, что в России официально называется «демократией», в Европе понимается как «возврат к авторитаризму»; то, что для Москвы является «рыночным подходом» к ценам на энергоносители, для Брюсселя тождественно «использованию экономики в политических целях» и т.д. В этом контексте изобретение термина «суверенная демократия» — это попытка «достучаться» до Запада, объяснить наши намерения на понятном ему языке. (Характерно, что политический в своей основе концепт суверенитета объясняется в этом случае не через «политическую волю», а через экономические категории, такие, как «конкурентоспособность».)

Второе объяснение, которое кажется нам более адекватным, состоит в том, что в общении друг с другом Россия и ЕС используют общий *словарь*, но формируют на его основе разные *дискурсы*, играя различными смыслами. Стороны говорят на одном языке, внутри которого, однако, заложены предпосылки неизбежных и существенных расхождений. Таков, например, язык геополитики или национальных интересов, содержащий в себе мощный разъединительный потенциал.

Возьмем проблему *терроризма*, отраженную в Четырех общих пространствах: обе стороны согласны, что терроризм представляет собой политическое явление, но по-разному понимают логическое продолжение этого тезиса, требующее политического ответа на вызовы террора. Для ЕС этот политический ответ формули-

руется в виде попыток найти безупречную, с правовой точки зрения, базу для борьбы с террористическими группами, в то время как Москва понимает суть политического ответа, скорее, в категориях К. Шмитта, то есть с точки зрения конститутивных исключений из существующих, изначально несовершенных правил.

Приведем другой пример. В рамках европейского миропонимания хорошо прописывается концептуальный персонаж «*coceda*» как зеркальной проекции самой Европы и ее ценностей вовне. Для России же «сосед» ассоциируется скорее с проблемами, причем эти негативные коннотации, которые легко просматриваются на уровне политического дискурса, имеют и вполне устоявшиеся бытовые социокультурные аналогии: традиции коммунального общежития сформировали устойчивый стереотип «соседа» как источника («носителя») трансгрессии, конфликтов и всевозможных неприятностей. В условиях низкой, по сравнению со странами Европы, мобильности российского населения в одном доме зачастую живут люди с абсолютно разными доходами, жизненными и профессиональными установками и т.д.; они могут проявлять толерантность друг к другу, но их не связывают общие взгляды на мир и, тем более, ценности или стратегии. Во многом похожая картина складывается и в плане географического соседства страны в целом: из всех государств, ранее входивших в «восточноевропейский блок», наиболее ровные отношения у России с Чехией, Венгрией, Болгарией и Румынией, то есть с теми, кто не является нашими соседями в строгом смысле этого слова. И, наоборот, отношения с Польшей, Балтийскими республиками, Украиной, Грузией и даже Белоруссией испытывают на себе негативное воздействие непосредственного географического

соседства. Отказ России от участия в Европейской политике соседства (ENP), который можно рассматривать как неудавшийся «акт интерпелляции», — одно из доказательств того, что Москва и Брюссель по-разному трактуют сам концепт «соседства» и связанные с ним статусы.

Создается впечатление, что Россия и Евросоюз просто разучились понимать друг друга.

Разница в структуре дискурсов, формирующихся вокруг наиболее конфликтных точек взаимоотношений России со странами ЕС, со всей наглядностью проявилась в рамках дебатов по «делу Литвиненко — Лугового». Во-первых, и Москва, и Лондон делали отсылки к сюжетам, выходящим далеко за пределы этого «шпионского скандала» как такового. Российскую расширительную трактовку лучше других озвучил председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками А. Кокошин. Он связал в единую цепочку ряд дипломатических шагов Великобритании и Польши, интерпретируя их не только как недружественные в отношении России, но и как подрывающие общую линию ЕС на восточном направлении. Этот аргумент подкреплялся тем, что в рамках ЕС именно Лондон и Варшава наиболее скептически настроены в отношении дальнейшей институциональной интеграции Европы. Таким образом, реакция России на «дело Литвиненко — Лугового» превратилась в очередную попытку переформатировать «ментальную карту» Европы, которая, согласно давней отечественной традиции, непременно должна предполагать наличие «плохих европейцев», «вредных» не только для нашей страны, но и для самой Европы. Понятно, что акцент на «особую» роль англичан и поляков содержал намек на то, что и те, и другие являются наиболее

лояльными союзниками США в Европе, что и предопределяет их «исключительное» позиционирование как по внутриевропейским, так и по международным вопросам. В таком объяснении важнее всего намек на то, что Россия не намерена автоматически проецировать сложности в отношениях с Великобританией на весь Евросоюз.

Тактика британской стороны была прямо противоположной: она как раз предполагала в качестве необходимого компонента перенос «дела Литвиненко — Лугового» на уровень ЕС. Неслучайно новый премьер-министр Великобритании Г. Браун поднял эту тему на встречах с А. Меркель и Н. Саркози. Кроме того, Британия тоже попыталась вписать свою позицию в более широкую, хотя и совершенно отличную от российской, систему координат: в комментариях «Би-Би-Си» в июле 2007 г. отчетливо прозвучала мысль о том, что отказ России выдать А. Лугового — составная часть жесткой линии Кремля, которая ранее была обозначена в приостановке участия России в Договоре об ограничении вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ). Тактику искусственных увязок одних проблем с другими (например, энергетической безопасности с реакцией России на снос «Бронзового солдата» в Таллинне) страны Европы применяли уже неоднократно, и России приходится привыкать к ней.

Вторая линия дискуссии, которая развела две страны по разные стороны вербальных баррикад, касалась квалификации позиций друг друга. Из уст представителя МИД России прозвучала уже ставшая дежурной фраза о том, что британская сторона *политизирует* весь контекст сложившейся ситуации, из чего следует, что сама Россия больше склонна к *деполитизированным*, техническим решениям, лежащим в правовой плоскости. Но как раз этот тезис и

оспаривается Великобританией, которая обвиняет Россию в устранении Литвиненко именно в политических целях.

Конечно, для Москвы весьма выгодно выбрать позицию аполитичности и ссылаться при этом на Конституцию и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях (1961 г.). Однако в большинстве заявлений российских политиков и дипломатов между строк легко прочитывалась реальная причина, лежащая в основе спора, — глубоко *политический* в своей основе вопрос о *суверенитете*. Такая постановка вопроса содержала значительное искажение в целеполагании: в разгар скандала Россия видела свою цель скорее в том, чтобы «показать всему миру», что мы своих не выдаем, чем в том, чтобы гарантировать беспристрастное расследование этого запутанного дела в судебном порядке.

Другим «узким местом» российской линии обороны стала попытка придать британской политике в отношении России черты исключительности, нетипичности на фоне отношений Москва–Брюссель. Ранее Россия примерно так же пыталась представить поведение Эстонии в связи со скандалом вокруг сноса памятника Советскому Солдату, однако вскоре выяснилось, что Таллинн получил поддержку в этом вопросе как Евросоюза, так и НАТО. Реакция Великобритании на «дело Литвиненко — Лугового» тоже содержит более широкие смыслы, выходящие за пределы отношений Лондона и Москвы: косвенно прозвучавшее в британском парламенте пожелание привести российское законодательство в соответствие с «международными нормами» об экстрадиции, по сути, представляет собой радикальный симптом «европеизации», понимаемой как навязывание странам, не входящим в ЕС, определенных правовых принципов. Но,

увидев «кнут», Россия не заметила «пряника». Иными словами, Великобритания, равно как и другие страны ЕС, похоже, вообще сняла с повестки дня проблему стимулов для России в случае развития событий в желательном направлении. Видимо, не зря специалисты по международным отношениям исписали горы бумаги, доказывая, что тактика жесткой «обусловленности», то есть постановки сотрудничества ЕС с той или иной «внешней» страной в прямую зависимость от выполнения ею ряда условий, практически не работает. По крайней мере, убедительные доказательства обратного найти весьма сложно.

Как видим, общая «борьба с террором» не столько объединяет, сколько разъединяет Россию и Запад. Ведь именно необходимость «обеспечить безопасность британских граждан» стала основным аргументом в публичном объяснении той линии, которую выбрал Лондон. Тот же аргумент, только с противоположным смыслом, прозвучал из уст представителя российского МИД, обвинившего Великобританию в отсутствии должной реакции на «неопровержимые доказательства причастности А. Закаева и Б. Березовского к террористической деятельности». Получается, у каждого не только «своя Европа», но и «своя безопасность»?

Таким образом, дискурсивный ландшафт российско-европейских отношений наполнен словами, которые, несмотря на их разную трактовку (а, возможно, как раз благодаря этому), способны сильнее всего повлиять на процесс двойного конструирования идентичности. Эта интерпретационная широта (если не неточность) ни в коей мере не является каким-то когнитивным дефектом формирующейся реальности двухсторонних отношений — как раз наоборот, она глупо вписана в эту реальность в качестве

ее неизбежного компонента [Laclau 2005: 67]. В результате такие универсалии, как «демократия», «суверенитет», «многополярность», «порядок», «справедливость», «безопасность», «прозрачность», «права человека» и т.д., приобретают в формате российско-европейского дискурсивного взаимодействия все характеристики «плавающих» (мобильных, многоплановых, нефиксируемых) означающих, которые не столько отражают сложившуюся практику двухсторонних отношений, сколько формируют ее. При ближайшем рассмотрении каждая из этих универсалий, которыми насыщено дискурсивное пространство двухсторонних отношений, оказывается содержательно пустой и требует для своей реактивации уточнения, контекстуализации, наполнения специфическим смыслом и «привязки» к той или иной партикулярной ситуации [Laclau 2000: 305]. Это соображение позволяет предположить, что суть российско-европейских дебатов сводится именно к борьбе за интерпретацию ключевых терминов, структурирующих отношения между Москвой и Брюсселем. В известном смысле, «дискурс Путина», который вызывает столь сильное недовольство на Западе, можно истолковать как попытку дать отпор универсализирующим интерпретациям роли Европы в мире. (Э. Лаклау был прав, предположив, что с некоторых пор «универсальное нашло свое тело», воплотившись в европейских представлениях о культуре, цивилизации и гуманизме [Laclau 2007: 24].)

Именно благодаря наличию этих «плавающих» означающих, провоцирующих дебаты, взаимоотношения России и ЕС всегда и неизбежно приобретают *политически* конкурентный характер, позволяющий избежать тотализации и унификации дискурсов. Конструирование идентичностей — глубоко политический процесс, во-первых, поскольку

он предполагает борьбу за привязывание «пустых означающих» к тому или иному смыслу и, во-вторых, поскольку в нем обязательно обозначается некий контраст, противопоставление, а значит — граница между «нашей» и «чужой» интерпретацией. Но сама эта граница является имманентно нестабильной, хрупкой и многократно пересматривается.

По сути, Кремль не только не уклоняется от навязываемой ему нормативной дискуссии о демократии и европейских ценностях, но и пытается контратаковать на этом дискурсивном поле. Одним из элементов новой стратегии стала концепция «*демократической многополярности*»: речь идет о таком взгляде на мир, который отрицает любые попытки гегемонии, исключительности и универсализации опыта отдельных стран или их группировок. Именно в этом плане следует понимать тезис Лаклау о том, что «демократия существует только при признании позитивной ценности смещенной идентичности... Условием демократического (со)общества является конститутивная неполнота (идентичностей. — А.М.), которая предполагает, конечно же, невозможность их окончательной фиксации» [Laclau 2007: 100].

В концепте «демократической многополярности» можно увидеть попытку перенести термин «демократия», обычно используемый для характеристики *внутреннего* устройства того или иного режима, на сферу *внешней* политики. Если строго подходить к терминологической стороне дела, то эту операцию нельзя назвать полностью корректной, поскольку здесь фактически происходит мягкая подмена понятий: применительно к международным отношениям Россия предлагает понимать под демократией простой плюрализм интересов и многообразие их источников в виде

суверенных государств. Парадокс состоит в том, что именно государства с весьма спорным послужным списком внутренних демократических достижений наиболее активно говорят о необходимости «демократической многополярности». Хорошими примерами здесь могут служить Россия или Китай. Напротив, источником посягательств на этот плюрализм чаще всего оказываются страны с вполне либеральными политическими режимами, чья линия поведения на международной арене содержит мощный универсализирующий (если не тотализирующий) потенциал. США и Евросоюз в этом плане очень близки друг другу.

В этой плоскости, видимо, и следует искать точки пересечения концептов «*суверенная демократия*» и «*демократическая многополярность*». Обратим внимание на одно важное обстоятельство, связанное с такого рода переносом внутренних терминов на сферу внешней политики: неизбежной «платой» за него становится девальвация самого понятия «демократия», поскольку применительно к области международных отношений оно означает всего лишь плюрализм интересов. И, наоборот, под «недемократией» понимаются любые попытки придать универсальный характер частному опыту отдельных стран.

### **Россия: разные языки общения**

Россия, желая быть субъектом коммуникации с Европой, учится объясняться на том языке, который может быть понятен европейцам. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что официальная Россия пытается говорить одновременно на разных, плохо сочетающихся друг с другом языках. Кремль показывает готовность озвучивать несколько логик одновременно, демонстрируя тем самым либо непонимание

принципиальных различий между ними, либо желание поэкспериментировать с разными «голосами». Используя сразу несколько «аргументаций», Россия создает крайне запутанную ситуацию и для Европы, и, что важнее, для самой себя.

*Первый язык*, на котором Россия обращалась к Европе, — это язык политический, строящийся на основе «актов власти», выводимых из «политической воли».

Примером могут служить призывы России к ЕС решить калининградскую проблему «политическим образом», то есть признав ее исключительный статус, требующий эксклюзивных решений, не обязательно вытекающих из общеевропейских правовых норм. Другой пример — политические в своей основе обвинения, высказанные Россией в адрес Дании в 2002 г., когда Копенгаген отказался отменить Всемирный чеченский конгресс, мотивируя свое решение тем, что проведение конгресса не противоречит датскому законодательству. Наконец, еще один пример из той же серии: «мюнхенская речь» В. Путина, в которой основной проблемой для России была названа безопасность в целом и приближение военных структур Североатлантического альянса к ее западным границам в частности. Россия, представшая миру в «мюнхенском формате», перешла на язык, сильно политизированный и базирующий, главным образом, на логике неизбежного конфликта.

*Второй язык*, который начала осваивать Россия, несет прямо противоположный смысловой заряд: это язык технический, деполитизированный, ассоциирующийся с экспертно-техническим подходом к решению проблем. Суть деполитизации состоит в утверждении эффективности и профессионализма, которые базируются на необходимом функциональном отделении управленческих структур от политики

как сферы властных отношений. В таком ракурсе политика предстает как что-то иррациональное, конфликтное, мешающее «нормальному» ходу событий и требующее неоправданно больших транзакционных издержек. Производные от политики прилагательные в устах президента с недавних пор приобретают преимущественно негативные коннотации. Например, в отношении Косово «нормы международного права подменяют или пытаются подменить так называемой политической целесообразностью. Что такое политическая целесообразность? Кто ее определяет?» [Путин 2007а]. В другом контексте Путин характеризует требование британских властей выдать Лугового как «пиаровский политический шаг» и как «чистую политику» [Путин 2007б]. Похожие слова прозвучали и по поводу мнений о том, что Россия не должна быть членом «Большой Восьмерки»: «это очередная глупость и ... желание добиться каких-то своих политических целей» [Путин 2007б]. Критику же Западом интеграционных процессов на постсоветском пространстве российский президент воспринимает только как «броские политические фразы, лозунги» [Путин 2007б].

Из такой диспозиции логически следует и явная установка Путина на поиск неполитических (аполитичных) сфер взаимодействия с партнерами, где ключевыми словами выступали бы рациональность и прагматизм: «в области экономических отношений мы намерены деполитизировать все наши контакты» [Путин 2007а]. «Мы не думаем, что нужно политизировать эти вопросы», — это было сказано в отношении российского запрета на ввоз польского мяса. Практически то же самое было заявлено президентом и по поводу конфликтов с транзитными странами из-за цен на энергоресурсы: «Наши действия не являются

политизированными. Это не политические действия». И далее еще раз: «Никто не может сказать, что мы политизируем эти вопросы» [Путин 2007в].

Казалось бы, этот «технологический» язык должен быть понятен европейским партнерам. В связи с «газовым кризисом» января 2007 г. Россия послала многим странам вполне определенный, на первый взгляд, сигнал: мы не будем больше покупать дружбу своих соседей, это слишком дорого обходится нашему бюджету. Инцидент с Белоруссией в этом смысле был «моментом истины»: Москва впервые решилась на то, чтобы перейти на радикально деполитизированный язык общения со своим ближайшим союзником. Такая логика неизбежно предполагала резкое снижение значимости любых политических (в том числе и геополитических) аргументов в дипломатическом арсенале Кремля, включая особое значение Минска с точки зрения расширения НАТО. Главный аргумент российского руководства звучал чисто экономически: дело не в том, что нам нужен военный плацдарм на наших западных рубежах, а в том, чтобы российский бюджет не страдал от желания наших партнеров паразитировать на «буферных» (равно как и транзитных) функциях.

Заседания правительства, фрагменты которых демонстрировались по телевидению в разгар российско-белорусского «газового кризиса», напоминали, скорее, заседания Совета директоров «Газпрома»: ни слова о геополитике, «друзьях» и «врагах», все вопросы президента — о том, сколько теряет российский бюджет из-за позиции Минска, находится ли Белоруссия в худших условиях по сравнению с аналогичными странами и т.д. По сути, мы присутствовали при чрезвычайно важной смене не только языка, но и всей практики



международного позиционирования России. Эта смена стиля была подготовлена всей предшествующей логикой официального кремлевского нарратива, который за несколько предшествующих лет вобрал в себя множество неолиберальных «технологизмов» — и концепцию «либеральной империи» А. Чубайса, и более ранние идеи Б. Немцова о том, что российские интересы в странах «ближнего зарубежья» будут оптимальным образом обеспечены, если допустить отечественный бизнес к приватизации их крупнейших промышленных предприятий.

Столь сильный упор на деполитизацию нельзя считать случайным. Именно в этом наиболее радикально проявился отказ Путина от прежних взглядов, в основе которых лежал акцент на политические методы разрешения конфликтных ситуаций. Использование политических аргументов не привело к ощутимым результатам, поэтому Россия предпочла перейти на тот лишенный политико-идеологических смыслов язык, который, как считают в Москве, наиболее приемлем для «пост-политического» (в категориях С. Жижека) Запада [Zizek 2006: 192]. Складывается впечатление, что Путин хочет быть предельно механистичным. Так, он отдает приоритет соблюдению международного права и в то же время признает: «если кто-то из участников международного общения считает, что принципы международного права нужно поменять, то это тоже возможно», но при соблюдении взаимных интересов [Путин 2007г].

Деполитизация понимается Путиным в контексте второго важнейшего компонента его дискурса — концепта *универсальности*. Он называет официальную российскую позицию «рыночной в отношении всех наших партнеров вне зависимости от того, какими являются на данный момент наши

политические отношения» [Путин 2007б]. Президент склонен ссылаться на «всеобщие» правила, нормы и процедуры, применяемые ко всем без исключения участникам международных отношений. Политические интервенции только мешают этому. Иными словами, рыночную универсальность он противопоставляет сингулярности, единичности политических взаимодействий. Его аргумент в отношении конфликта вокруг проекта «Сахалин-2» состоит в том, что «Газпром» заплатил за вхождение в проект «рыночную цену». Та же логика применяется и в отношении попыток российских компаний проникнуть на европейские рынки: они ничем не отличаются от западных компаний, поскольку «приходят с инвестициями, которые крайне нужны экономике» этих стран [Путин 2007б].

Аргумент об универсальной применимости международных норм наиболее четко прозвучал при обсуждении вопроса о статусе Косово. Путин неоднократно отмечал, что любые договоренности должны носить «универсальный характер» и автоматически распространяться на аналогичные регионы: «Почему албанцам разрешено вести себя таким образом, а осетинам, скажем, нет?» «Теория домино», на которую косвенно ссылается Путин, утверждая, что предоставление независимости Косово спровоцирует схожие тенденции в Каталонии, Шотландии и Стране басков, тоже является специфической формой универсалистского дискурса.

Приверженность универсальным формулам имеет в качестве оборотной стороны отрицание какой-либо яркой *специфики России*. «Никакой уникальности у России здесь нет», — констатировал президент в отношении роли государства в экономике. Таким образом, склонность видеть мир в универсальных категориях перерастает в

тезис о «нормальности» России, который позволяет Путину говорить об адекватности российской демократии, ее соответствии практикам, характерным для европейских стран. Приведем одну из наиболее ярких цитат: «Смертная казнь в некоторых западных странах, тайные тюрьмы и пытки уже в Европе, проблемы со средствами массовой информации в отдельных странах, иммиграционное законодательство, не соответствующее в некоторых странах Европы общепринятым принципам международного права и демократическим нормам — это, на мой взгляд, тоже относится к “общим ценностям”» [Путин 2007б].

Таким образом, Путин утверждает «нормальность» России через *деконструкцию* самого понятия нормы. Из этой же серии — упоминание президентом того факта, что еще в 1993 г. Европейский суд по правам человека отметил ограничения, связанные с выдачей лицензий австрийским СМИ. Говоря о коррупции, он приобщает к делу факт «ареста чуть ли не всех мэров на юге Испании» как свидетельство того, что Россия не выбивается из общей картины. «Посмотрите, как работает полиция в европейских странах. Дубинки, слезоточивый газ, электрошок, резиновые пули», — отвечает он на вопрос о разгоне в нескольких российских городах «маршей несогласных». Обвинения в авторитаризме Путин парирует следующим образом: в США раньше вообще не было ограничений по срокам для занятия президентской должности, а во Франции таких ограничений нет и сейчас.

В результате «международная формула» Путина может быть названа «*деполитизированным универсализмом*». Поскольку за этим словосочетанием стоят две ключевые традиции в истории политической мысли — либерализм с его стремлением распространить на сферу государственного

управления концепты, заимствованные из сферы бизнеса, и идеализм с его верой в существование моделей отношений, предназначенных для всеобщего пользования, Путина вполне можно было бы назвать (вероятно, несколько парадоксально) «*либеральным идеалистом*».

Именно отсюда стал возможен переход к *третьему языку* общения с Европой — нормативному. Если 1990-е годы прошли под знаком принципиального согласия России адаптировать европейские нормы и ценности, то при «позднем Путине» Россия сделала попытку выдвинуть свою собственную «нормативную повестку дня». Ее суть состоит в следующем: европейское понимание демократии не является эталоном, страны, которые учат Россию демократии, сами ведут себя в мире недемократично.

На наш взгляд, проблема здесь очень глубокая и связана она с фундаментальными дискуссиями, которые ведутся в последние годы по поводу наиболее противоречивых страниц истории XX в. Вспомним, к примеру, конференцию, созданную в Тегеране в 2006 г. теми, кто отрицает реальность Холокоста. Публичное отрицание массового истребления евреев фашистской Германией карается как преступление во многих европейских странах, что дало повод иранским властям обвинить Запад в нетерпимости к альтернативным точкам зрения на историю.

Несложно заметить, что позиция в отношении истории Второй мировой войны, занятая властями Эстонии (равно как и Польши), — оборотная сторона попытки исламских фундаменталистов пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала. Ведь, по сути, Тегеран, с одной стороны, и Таллинн с Варшавой, с другой, ведут дело к переписыванию истории: сомнение в реальности Холокоста и отрицание факта освобождения стран Восточной Европы

от фашизма Советским Союзом — звенья одной цепи.

В эту картину хорошо вписывается очевидная нормативная подоплека празднования Дня Победы. После демонтажа памятника Советскому Солдату в Таллинне нормативные протесты буквально выплеснулись на улицы и приобрели характер массовых публичных акций. Именно эта гражданская активность, охватившая буквально все общество, от «Наших» и «Молодой гвардии» до торговых сетей, которые в инициативном порядке отказались от продажи эстонских товаров, и придала Дню Победы смыслы, выходящие далеко за пределы празднования конкретной исторической даты. Эти смыслы напрямую касаются набирающего обороты процесса формирования российской государственной идентичности, ключевой элемент которой — особая символика роли наших соотечественников в Великой Отечественной войне.

Многие на Западе утверждали, что перебои с поставками российского газа в Европу через территорию Белоруссии привели к невиданной консолидации Западной Европы перед угрозой ее энергетической безопасности. В 2007 г. действия эстонских властей достигли, казалось бы, невозможного: большинство россиян — и либералы, и консерваторы — в одночасье превратились в патриотов. Хотя вряд ли самим эстонцам стало легче оттого, что Россия сделала еще один шаг в сторону национализма.

Ситуация осложняет тот факт, что Россия сама начала восстановление своей государственности с разворота на 180 градусов в отношении революционного прошлого: «белые» и «красные» были фактически уравнены в исторических правах, а праздник Октябрьской революции заменен Днем примирения и согласия. Видимо, Кремль решил перенести эту практику на

международный уровень: известно, что Россия не просто согласилась назвать 8 и 9 мая Днями примирения и согласия, но и сама инициировала такое решение в рамках ООН. Как показало дальнейшее развитие событий, одно дело — сплотить нацию, расколотив революцией на две части, а другое — примирить тех, кто воевал против фашистов, с теми, кто считает советских воинов оккупантами. Россия, вероятно, не просчитала, как это решение будет интерпретировано некоторыми ее соседями. Ведь, по сути, Польша и Эстония восприняли теперь уже вполне легитимную идею примирения буквально, поставив знак равенства между Сталиным и Гитлером. Начавшаяся цепная реакция чревата полномасштабным кризисом в отношениях между Россией и ЕС, поскольку последний поддержал правительство Эстонии. Как видим, попытки перейти на политкорректный язык всеобщего консенсуса грозят еще более глубокими разломами.

Можно констатировать, что попытки говорить со странами Запада на языке общеевропейских ценностей, таких как уважение прав меньшинств и недопустимость даже косвенной реабилитации фашизма, ни к чему не привели: в ответ Россия услышала стандартные обвинения в неспособности обеспечить безопасность эстонского посольства. Похоже, Кремль недооценил тот эффект, который произвели на западную общественность убийство А. Политковской и ряд других аналогичных дел. Именно поэтому ссылки российской дипломатии на «общеевропейские ценности» в конфликте с Эстонией, по большому счету, не сработали — помешал контекст ситуации, крайне неблагоприятный для России.

Кроме того, многие в Европе воспринимают российскую политику в отношении Эстонии сквозь призму опыта россий-

ко-грузинского конфликта, который тоже отнял у Москвы много очков с точки зрения международного резонанса. Картина на всех направлениях получается примерно одинаковой: «огромная Россия» обижает своих «маленьких соседей». Можно сколько угодно негодовать по поводу такого стереотипного восприятия, но сомневаться в том, что именно оно сейчас доминирует в Европе, не приходится. При этом сама Европа в других случаях, когда ей это удобно, совсем не склонна к обобщениям и даже критикует за них Россию. Так, с точки зрения ЕС и НАТО, Косово — это отдельный случай, и его никак нельзя соотносить, как это делает Россия, с Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем или Нагорным Карабахом.

Очевидно, что российский тактика — использование сноса антифашистского по своей семантике памятника для противопоставления «неофитов» «старожилам» — не удалась. Однако это не означает, что российское руководство оставит свои попытки конструирования многомерного образа Европы, распадающегося (по терминологии норвежского исследователя И. Нойманна и его российского коллеги В. Морозова) на «истинно европейские» и «ложные» сегменты. Исторически европейская политика России всегда основывалась на двух типажах европейцев — «хороших», «настоящих», и «плохих», «конфликтных». Последние достаточно легко идентифицируются с такими странами, как Эстония и Польша, которые в российском дискурсе противопоставляются другим, более уважительно относящимся к символам Второй мировой войны (в их числе — Венгрия, Чехия и Австрия). Моделирование «хорошей Европы», таким образом, представляет собой поиск тех европейских стран, с которыми нам комфортно и выгодно вести дела. Лидер на этом направлении известен — это

Германия, которая символизирует собой экономический интерес, преобладающий над политическими различиями. Российско-венгерско-финская встреча на высшем уровне в Саранске в июле 2007 г. может восприниматься в качестве одного из элементов «финно-угорского пути» в Европу, ресурсы которого вполне могут быть использованы для формирования европейской идентичности России. Впрочем, политический фон «финно-угорского саммита» проявился в отсутствие на нем Эстонии, отношения России с которой серьезно омрачились историей со сносом «Бронзового солдата». Получается, что Москва (как, впрочем, и Таллинн) весьма выборочно подходит к «финно-угорскому единству», предпочитая дружить с теми, кто заведомо удобен, и «выносить за скобки» тех, кто по политическим мотивам не вписывается в бесконфликтную картину. Так что любое «упражнение» по конструированию «хорошей Европы», будь то на основе культурной солидарности или экономической выгоды, несет на себе неизбежный отпечаток *политического* решения.

### **Образы России в европейском дискурсе**

«Карикатурный скандал», равно как и созванная в Тегеране конференция тех, кто сомневается в реальности Холокоста, — наиболее яркие элементы дискуссии о соотношении ценностей и безопасности. Феномен «цветных революций» придал новый импульс давним спорам о допустимости внешнего влияния на демократические перемены.

Действительно, большая часть дискуссий в современном мире — это дебаты о ценностях демократии. Мало кто сомневается, что накануне президентских выборов

в России 2008 г. вопросы демократии будут прочно вписаны в семантику российско-европейских отношений. Впрочем, вопрос о том, в какой степени демократия может оставаться инструментом политики ЕС в отношении ближайших соседей, начинает дебатироваться в Европе с новой силой. Многие эксперты указывают на истощение импульса демократии, пик которого пришелся на конец 1980 – начало 1990-х годов, когда демократия превратилась в единственный глобальный режим легитимации политической власти.

Это имеет прямое отношение к Европе, чья логика существования строится на концепции однородного пространства, исключаящего, по большому счету, инаковость. Применяя терминологию Б. Гройса, можно предположить, что граница между Европой и не-Европой соответствует границе «валоризованного» и «профанного» пространства [Гройс 2002: 215]. Каждый раз, встречаясь лицом к лицу с альтернативными позициями и ценностями, Европа теряет ориентацию и начинает фальшивить. Приведем весьма яркий пассаж из газеты «Дейли Телеграф» (19 мая 2007 г.): «Как ЕС должен отвечать на воинственность России? Военная интервенция исключается, поскольку вся концепция европейской обороны превратится в фикцию» [«Daily Telegraph» 19.05.2007]. В этой фразе обращает на себя не столько объяснение того, *почему* Евросоюз не должен разворачивать войну против России, сколько сама постановка вопроса о силовом вмешательстве как легитимной темы для публичных дебатов.

Европа, как видим, конструирует свои образы России, семантика которых в значительной мере строится на подчеркивании ее огромных энергетических ресурсов. Кризис, вызванный перебоями поставок

российского газа в страны Европы, — один из примеров сложностей коммуникации между Москвой и Брюсселем. Страны-потребители в основном обвиняли Россию не в повышении цен на газ для Белоруссии, а в нежелании заранее проконсультироваться с европейскими партнерами по поводу возможных последствий такого решения. Иными словами, Европа признала право России устанавливать мировые цены на нефть и газ, но перенесла критику на то, в каком стиле это было сделано. В результате произошел конфликт двух норм: *рыночных цен*, с одной стороны, и *прозрачности* — с другой.

Можно взглянуть на ситуацию под другим углом зрения: в то время как Россия пыталась научиться говорить на чисто *экономическом* языке, Европа перешла на язык *политический*. Но ведь это тот самый политический язык, на дефицит которого Россия неоднократно обращала внимание ЕС. Например, в 2004 г. официальный Брюссель несколько не озаботился тем, чтобы провести предварительные консультации с Россией по поводу предстоявшего расширения ЕС. А ведь в результате этого расширения торгово-финансовые отношения России со странами Балтии и Восточной Европы существенно осложнились. Теперь ЕС, по сути, требует от России того, в чем сам ей неоднократно отказывал.

Как это ни парадоксально, но чем больше Россия приближается к модели поведения, которую от нее давно ждали на Западе, тем громче звучат обвинения в «неоСталинизме». Общим местом стало утверждение об использовании Россией «энергетического оружия» в политических целях. Осуществленный Москвой переход на мировые цены на энергоносители часто интерпретируется как доказательство ее политической злобности, несмотря

на то, что все это происходит на фоне постепенного снижения уровня военного присутствия России за ее рубежами. На обложках ведущих европейских журналов регулярно появляются коллажи с изображением президента Путина на фоне нефтяных труб и надписями «Энергетическая империя» и т.п. При этом между собой страны Запада обсуждают вопросы энергетической безопасности на чисто экономическом языке.

Европейский дискурс в отношении России часто приводит к двойным стандартам. Например, российско-алжирские переговоры о координации газовой политики Запад расценивает как «тревожащие» и чреватые «манипуляциями». Но разве в рамках рыночной логики нельзя представить ситуацию, при которой два оператора о чем-то договариваются друг с другом? Суть проблемы сводится к тому, что действия, которые сами западные страны предпринимают регулярно, в исполнении России (и тем более Алжира) вызывают недовольство и плохо скрываемое раздражение. Напрашивается вывод, что Запад в не меньшей (а, вероятно, даже в большей) степени, чем Россия, выступает источником политизации всего комплекса проблем двусторонних отношений. Более того, в тех редких случаях, когда Россия начинает говорить на неполитическом (то есть, скорее, экономическом) языке, как это произошло в ходе «газового» конфликта с Белоруссией, западные партнеры отказываются проявить хотя бы минимальное понимание.

Политизации способствует и искусственное расширение спектра вопросов, которые слишком легко «привязываются» к энергетике. Так, в европейских СМИ стратегия «Газпрома» на рынках стран ЕС зачастую обсуждается в нарочито широком

контексте, включающем и природу российского политического режима, и личность Путина, и «дело Литвиненко» и т.п. В ход идут такие семантические конструкции, как «энергетическое оружие», или более мягкие аллюзии (например, «противоречивая позиция Газпрома»), указывающие на присутствие в действиях России мотивов, далеких от логики экономической рациональности.

Переход России на деполитизированный язык серьезно обеспокоил и даже возмутил Европу. Вообще, создается впечатление, что как только Россия активирует технический «словарь» в общении со своими европейскими партнерами, те начинают теряться. Примерно так же недавно терялась сама Россия, когда страны Балтии вытесняли ее из региона под предлогом низких экологических стандартов в нашем морском транспорте, когда Евросоюз грозил не пускать в свое воздушное пространство наши авиалайнеры из-за их несоответствия европейским техническим характеристикам или поднимал тему слабой защищенности российских паспортов. Логика западных соседей во всех этих случаях была примерно одинаковой: никакой политики, мы говорим о сугубо технических вещах.

Европе, видимо, привычнее иметь дело с Россией, которая либо не может сформулировать свои интересы, либо формулирует их на языке политических угроз и шантажа. Многие технологические решения Москвы сегодня сложно оспорить, а тем более предложить им привлекательную альтернативу. Например, Европа может сколько угодно намекать на то, что за закрытием российских границ перед грузинскими и молдавскими винами стоят политические расчеты Кремля, но это не отменяет того факта, что сам ЕС не готов открыть свои рынки для этих товаров.

Очевидно, что Европа еще только начинает «переваривать» долгосрочные перемены, происходящие во внешней политике России. На этом пути ее подстерегают, как нам представляется, несколько концептуальных проблем.

*Первая проблема* европейской интерпретации России — столь же тесная, сколь и не всегда логичная увязка внутренней и внешней политики. В этом смысле Европа говорит с нами одновременно и на языке политического реализма с его приверженностью национальным интересам, и на языке идеализма с его уверенностью в существовании безусловной логической связи между внутренним устройством страны и ее поведением на международной арене. Вот лишь одно подтверждение: Кремль, как утверждает «Дейли Телеграф» (19 мая 2007 г.), «не остановится ни перед чем для предотвращения любого вызова авторитарному режиму Путина, как в этом смогли убедиться жители крохотной Эстонии» [«Daily Telegraph» 19.05.2007]. Главное в этой фразе — логическая связка между двумя разными по своей природе аргументами: об авторитаризме президента России и о политике Москвы в отношении Таллинна. Эта логика увязок базируется на предположении, что если бы у власти в России был менее авторитарный президент, то он как-то иначе отреагировал бы на глумление над памятниками советским солдатам. Однако данный тезис в своей основе является ложным: как авторитарный режим может проводить мягкую внешнюю политику, так и вполне либеральные, с точки зрения внутреннего устройства, власти могут быть агрессивными — достаточно сослаться на Великобританию или Соединенные Штаты.

*Вторая проблема* Европы — принципиальный отказ (или неспособность)

увидеть за действиями российского руководства не столько гиперполитизированную имперскую логику, сколько экономические расчеты. Наглядные примеры — приписывание России великодержавных амбиций при переходе на мировые цены на энергоносители или отказ обсуждать проблемы качества продукции некоторых стран, которое было признано Россией не соответствующим ее стандартам. Европа не может преодолеть соблазн упрощенной трактовки России как «имперского государства», хотя гораздо больше эмпирических доказательств свидетельствуют о приверженности России совершенно иному типу внешнеполитического поведения — модели «односторонней», эгоистической и крайне индивидуалистической дипломатии.

Европа отказывается видеть в России типичный пример индивидуалистического государства, приверженного стратегии односторонних действий и не готового оплачивать союзнические отношения с соседями из своего бюджета. Между тем можно привести множество примеров, подтверждающих гипотезу о том, что Кремль в своих действиях часто руководствуется чисто экономическими соображениями, которые, конечно же, совсем не должны быть демократическими по своей сути. При Путине многие политические термины в устах представителей российского истеблишмента легко приобретают экономические оттенки: например, понятие «суверенитет» трактуется В. Сурковым как «конкурентное преимущество». Категории «дружбы» практически не актуализируются в российской внешней политике, видимо, из-за слишком высокой материальной цены, которую Москва не готова платить. Государство, которое последовательно выводит свои войска с территорий соседних стран, инициирует введение визового режима и экономических

санкций в отношении некоторых из них, не очень напоминает имперскую державу, желающую нести бремя объединения территорий вокруг себя.

*Третья проблема* — нежелание поощрять те элементы внешней политики России, которые соответствуют европейским ожиданиям, и стремление перенести их на другие сферы. Европа отказывается видеть в словах и действиях российской стороны указания на ее принципиальную готовность к диалогу на понятном ЕС языке и, соответственно, раз за разом упускает возможность призвать Россию к ответственности за ее слова.

Думается, Евросоюз мог бы избрать более гибкую стратегию, например, поддерживать само стремление России торговать энергоресурсами по рыночным ценам, но при этом настаивать на том, чтобы тот же подход, сводящийся к недопущению политически мотивированных вмешательств в экономические процессы, применялся бы и по отношению к таким странам, как Эстония или Литва. Аналогичным образом Брюссель мог бы позитивно отреагировать на желание России действовать на основе европейских ценностей, но одновременно настаивать на приверженности Москвы этим ценностям не только в диалоге с Эстонией, но и в Чечне или Грузии. Такой подход позволил бы Европе добиться от России большего, чем при политике тотальных обвинений.

\* \* \*

Россия и Евросоюз пока не горят желанием углублять свои отношения. На этом фоне становится понятным, почему и в Москве, и в Брюсселе относительно спокойно восприняли польское вето на дальнейшие переговоры о партнерстве «Россия–ЕС». Парадокс состоит в том, что позиция Варшавы фактически устраивает

обе стороны, предлагая пристойное объяснение невозможности на данном этапе дальнейшего движения вперед. Даже если бы Польша сняла свои возражения (а они касаются всего лишь экспорта в Россию польского мяса), ее место заняла бы, вероятно, Литва или Эстония.

Однако при ближайшем рассмотрении позиция, выражаемая на политическом языке формулой «чем дальше от России, тем лучше», в экономическом плане приобретает прямо противоположный смысл. Этот очевидный разрыв между политической риторикой и прагматическими интересами демонстрирует сама Польша, которая своим вето доказывает сильное желание торговать на российском рынке, равно как Литва доказывает свою заинтересованность в восстановлении поставок российской нефти через ее порты. Высока вероятность того, что, как только потенциал политизации будет исчерпан, подойдет к концу и пауза в активных контактах между Россией и ЕС.

Для Европы нынешняя пауза может привести к существенной смене внешнеполитических акцентов. На место нынешнего дискурса, базирующегося на таких ключевых понятиях, как «европеизация», «демократизация», «проекция норм», постепенно приходит осознание того, что многие страны не хотят признавать исключительную роль ЕС как источника ценностей и правил, которым следует подражать. Надо дать Европе свыкнуться с этой мыслью и не торопить ее.

Пауза может помочь европейцам определиться и с более конкретным вопросом: что их больше всего не устраивает в России — нежелание принять нормы европеизации, установленные ЕС, или же усиливающийся прагматизм во внешнеполитических действиях? Первое объяснение указывает



на Россию как на «Большого Другого», то есть нечто имманентно чуждое, неорганичное и принципиально *отличающееся* по своей структуре от «цивилизированной Европы». Второе имеет прямо противоположную семантику, поскольку в его рамках Россия предстает как государство, преследующее свои (преимущественно экономические) интересы и использующее свои ресурсы, и в этом смысле *эквивалентное* любой стране Запада. В конечном итоге, ответ на этот вопрос будет определять, на каком языке Европа предложит говорить России. Россия же, позиционируя себя в качестве полноценного политического субъекта, в принципе готова говорить и на нормативном языке ценностей, и на стратегическом языке интересов.

Исходя из сказанного, можно предположить, что в ближайшее время «языковые игры» между Россией и Евросоюзом будут заключаться в попытках «поймать» друг друга на противоречиях. Брюссель будет по-прежнему стремиться увидеть за любимыми экономическими шагами Москвы скрытую политическую логику и получать в ответ упреки в склонности к излишней политизации. По идее, иметь дело с «управленческим государством» легче, чем с государством, которое мыслит исключительно в геополитических категориях. Но это только гипотетически, поскольку в странах ЕС многие подспудно опасаются, что *деполитизация*, которую мы наблюдаем при президентстве Путина, окажется наиболее эффективным способом усиления российской *власти* в мире.

## примечания

Гройс Б. 2002. Медиум и дискурс // Михаил Рыклин. Деконструкция и деструкция. Беседы с философами. М.: Логос.

Путин В. 2007а. Заявления для прессы и ответы на вопросы по итогам переговоров с Президентом Греции Каролосом Папулясом, 31.05: [http://www.kremlin.ru/appears/2007/05/31/1812\\_type63377type63380\\_132271.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/05/31/1812_type63377type63380_132271.shtml)

Путин В. 2007б. Интервью журналистам печатных средств массовой информации из стран-членов «Группы восьми», 04.06:

<http://www.kremlin.ru/text/appears/2007/06/132615.shtml>

Путин В. 2007в. Заявления для прессы и ответы на вопросы по итогам переговоров с Премьер-министром Португалии Жозе Сократешем, 29.05: <http://www.kremlin.ru/text/appears/2007/05/131875.shtml>

Путин В. 2007г. Заявления для прессы и ответы на вопросы в ходе совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцем Фишером, 23.05: [http://www.kremlin.ru/appears/2007/05/23/2125\\_type63377type63380\\_130553.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/05/23/2125_type63377type63380_130553.shtml)

Фуко М. 2004. Археология знания. СПб.: Гуманитарная энциклопедия.

«Daily Telegraph», 2007, 19.05.

Laclau E. 2000. Constructing Universality // Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left. L.; N.Y.

Laclau E. 2005. On Populist Reason. L.; N.Y.

Laclau E. 2007. Emancipation(s). L.; N.Y.

Zizek S. 2006. The Universal Exception // Zizek S. Selected Writings / Ed. by R. Butler, Stephens S. Vol. 2. L.; N.Y.